

Института социологии РАН Рефлексивная журналистика

Александр СОГОМОНОВ, академический директор Центра социологического образования

Журналистика сегодня, безусловно, является наиболее передовой частью класса свободных профессионалов любого современного общества. И, возможно, поэтому в корпоративной культуре журналистов отчетливо проявлено напряжение между чистым профессионализмом ("техникой пера") и общественным призванием журналиста ("миссией пера"). Отчетливее всего это напряжение проявляет себя в России.

Я буду исходить из очень банального тезиса о том, что у прессы существует читатель, который хочет читать, а хочет и не читает периодику. И в этом заключается свобода читателя. В остальном же читатель оказывается заложником той картины мира, которую так или иначе конструирует для него журналист. Но, кроме того, в повестке дня существуют такие общественные сюжеты, которые по многим причинам читатель не может ни сформулировать, ни понять без профессиональной помощи журналиста. Казалось бы, это – проблема медиа–потребителя, но на самом деле это – проблема соответствия или несоответствия духу времени той журналистики, к профессиональной помощи которой обращен взгляд читателя.

И проблема эта, по–видимому, является исконной для всей современной журналистики. Уже в медиа–пространстве эпохи Просвещения журналистика, может быть, впервые прочувствовала на собственном опыте, что значит отвечать на вызовы истории и тонко чувствовать "дух" времени. И в этом смысле мне представляется, что параллель между концом нашего столетия в России и концом XVIII века в Европе (эпохой третьего поколения просвещенцев) напрашивается сама по себе.

Говоря "Просвещение", мы прежде всего имеем в виду судьбы идей достаточно известных мыслителей – Вольтера, Руссо, Монтескье и др. Но при этом весьма редко на память нашему современнику приходит то, какую роль в осуществлении просвещенческого проекта сыграла европейская журналистика. А на самом деле, Просвещение вряд ли стало бы цивилизационным проектом, если бы европейская пресса в какой–то момент не взяла бы на себя миссию разжевывания и донесения до рядового читателя всего того полета мысли, который и поныне приписывается исключительно гениям просвещенческой мысли.

Просвещенцы первой волны (20–30–е годы XVIII века, когда только–только начали выкристаллизовываться первые идеи Просвещения) были фигурами исключительно салонными. В известном смысле, им было безразлично, что думает о них широкая публика. И когда кто–либо из них говорил "моя публика", то имел в виду прежде всего посетителей французских салонов, у которых интерес к философским идеям был весьма специфическим. Хотя, конечно же, никто из них не чурался ни сплетен, ни тем более скандальных сюжетов. И в этом смысле уже первое поколение просвещенцев было немножечко "желтым".

Социальная философия Просвещения была, разумеется, не в интеллектуальном вакууме изобретена. Но современники, тем не менее, не готовы были еще оценить ее по достоинству. Это противоречие было настолько очевидно, что позволило тем, кого нередко называют писателями "второго сорта", присвоить себе роль "соавторов" гениев Просвещения.

Я имею в виду, что не очень известные писатели и не очень известные журналисты, которые смогли быстро уловить эвристичность просвещенческой мысли и оценить ее когнитивные возможности, распорядились этой мыслью так, что широкая публика впоследствии стала цитировать многие просвещенческие интеллектуальные открытия без указания на авторство. И все это стало возможным лишь потому, что публицистика и журналистика XVIII века благоразумно поступила в отношении философского наследия первой волны просвещенцев. В результате собственно просвещенческая идея достаточно быстро обрела статус идеи Просвещения.

Впрочем, просвещенцы первой волны еще не понимали, что живут в эпоху Просвещения, это отчетливо осознал лишь Кант –

представитель третьего поколения просвещенцев. Правда, Канту же принадлежит фраза о том, что мы живем "не в просвещенный век, а в век Просвещения". Иными словами, Канту как представителю третьего поколения было ясно, что все наследие Просвещения так или иначе становится цивилизационным "проектом", помимо интенций самих просвещенцев.

Просвещенческий проект – это не просто изобретение идеи гражданского общества, а идеи, еще

не воплощенной в опыте человеческого взаимодействия, и априорного философского и нравственного обоснования гражданского общества. То же касается и многих других проектных идей (верховенства закона, примата прав человека и т.д.), которые интеллектуально становились единым пространством социального общежития и как факты сознания детерминировали повседневную практику современного человека.

В XVIII веке европейское общество менялось достаточно быстро, причем менялось чаще всего от одного только осознания того, что завтра всем надо будет жить по-другому. И это осознание приходит в культуру XVIII столетия благодаря удивительному чутью журналистов на философские откровения просвещенцев. (Эти сюжеты не случайно получили детальное освещение в исследовательской литературе.) Удивительным образом эта эпоха перекликается с нашим временем. В книге американского социолога Гиршмана "Страсть и интерес" показано, как в английской журналистике в середине XVIII столетия развернулась баталия между рынофилами и рынокофобами. Если убрать в цитатах отсылки к британским первоисточникам, то у читателя возникает устойчивое ощущение, что он просматривает дайджест сегодняшней российской прессы. Но уже тогда было ясно, что социальные споры подобного свойства могут быть решены лишь с помощью пера. И оказалось, что союз журналистики с просвещенческой философией способен изменить как Культуру, так и всю европейскую цивилизацию в целом. Этот союз социальной теории и журналистики накрепко привязал европейского читателя к просвещенскому проекту и, в известном смысле, гарантировал его исторический успех.

XIX столетие – скучный век европейской журналистики. На его счету множество технических изобретений, в нем была предпринята новая попытка построения идентичного медиа-проекта, основанного в данном случае на союзе журналистики и идеологии. И именно этот союз продемонстрировал европейцам всю силу манипулятивности прессы и способствовал тому, что воспитанная на идеях Просвещения европейская журналистика приходит к жесткому для себя выводу о том, что пресса и теория – вещи не сопоставимые, о том, что журналист не обязан отстаивать какие-либо истины. Напротив, его миссия – информировать, а не просвещать (воспитывать, образовывать). Разумеется, журналист вправе комментировать те или иные события общественной жизни, вправе знакомить читателя со своими аналитическими соображениями. Но ко всему, к чему прикасается перо журналиста, следует прибавлялся эпитет "журналистский" (журналистское расследование, журналистское интервью, журналистский анализ и т.п.).

И эта корпоративная традиция XIX века, традиция информирования читателя, резко сузила призвание журналиста, сделала его работу в некотором смысле более скучной и монотонной по сравнению с журналистикой эпохи Просвещения.

И, пожалуй, вплоть до середины 60-х годов нашего века журналисты настолько свыклись с этой трактовкой своего профессионального призвания, что зачастую к функции информирования населения сводят всю свою общественную миссию, что приводит как к разладу отношений с читателем, так и ко всевозможным внутренним конфликтам в журналистике.

Тем временем между публикой и прессой возник достаточно хороший контакт. Я бы даже сказал, что благодаря телевидению и газетам, человек с улицы понимает, о чем ему говорить прилюдно, о чем говорит философ, социолог, политолог, анализирующий ситуацию в стране. Конечно же, пресса упрощает содержание публичных выступлений политиков, доводит рассуждения аналитиков до определенного осадка, словом, блистательно возвращает дискурс Власти в публичное пространство.

И в данном случае мы имеем дело с очень важным и парадоксальным феноменом. Если справедливо то, что главная забота прессы – предоставлять населению объективную информацию, то следует отдавать себе отчет в том, что информация упаковывается в слова, в те слова и понятия, которые соответствуют определенному типу теоретического мышления. Невозможно судить о мире исключительно в повседневных и обыденных категориях. Хочешь, не хочешь, но приходится прибегать к употреблению таких слов, как: "государство", "общество", "класс", "сословие", "группы", "интересы" и пр. Все они имеют абсолютно жесткую смысловую структуру, соответствующую теоретической мысли того общества, которое мы называем классическим индустриальным обществом. Оно началось в просвещенческую эпоху и подошло к своему логическому завершению ближе к последней четверти XX столетия.

Сегодня все рассыпалось, и в первую очередь произошел жесточайший разрыв между журналистикой и актуальной теоретической мыслью: нет ни напряженного, иногда враждебного, нет ни доброго отношения, нет сейчас буквально ничего, что бы указывало на соавторство теории и журналистики. Журналисты фактически перестали присваивать себе то, о чем думают сегодняшние мыслители конца XX века, те понятия, которые корреспондируют сегодняшним цивилизационным

процессам в недрах современного общества и его культуры, глобальному миру в целом, миру массовых коммуникаций, миру конкурирующих информационных потоков.

Весь набор традиционных вещей, с помощью которых современный человек говорил про себя и про свой окружающий мир, рассыпался, он не работает. Утрачивают смысл самые простые слова: сегодня мы вряд ли сможем объяснить даже самим себе, что такое класс, нормальная семья и т.д. Мы стали гораздо более толерантными в отношении любых, так сказать, отклонений, с точки зрения современного субъекта. Под нами медленно, но неумолимо рассыпалась, а точнее саморазрушилась индустриальная цивилизация.

И это саморазрушение оказалось настолько масштабным и столь мощно охватило самые основания человеческого взаимодействия, что медиа сегодня обретают для человека и гражданского общества два новых значения. Одно значение соответствует интуитивному уровню понимания того, что какие-то изменения в мире все же происходят и в нашем обществе, в том числе. Но старорежимный язык журналистики не позволяет эти изменения адекватно описать. А посему общество продолжает рассуждать о свободе прессы и о ее миссии информировать население. Но именно такая трактовка журналистики препятствует осознанию ее роли в перевоспитании мира. Мы как будто бы сами не хотим того, чтобы союз журналистики и теоретической мысли вновь обрел свое легитимное влияние на наши умы.

И тем не менее, мы живем в эпоху высокой современности, когда старые представления об обществе утратили свои *raison d'être*. Не имеют смысла ни такие понятия, как "класс", "сословие", ни принадлежность к социальным целостностям, и даже понятие "гражданство" становится весьма умозрительным. Более того, буквально все формы социальности становятся предметом выбора человека. Хочу – сегодня идентифицирую себя с одной социальной группой, а завтра – с другой, хочу – изменяю свою гендерную идентичность и т.п. Мы часто говорили о том, что XIX век и начало XX века – это эпоха господства стандартных биографий в условиях индустриальной цивилизации. Перед человеком с детства вырисовывалось несколько жизненных перспектив, из которых он совершал свой выбор.

Теперь же он вынужден гораздо чаще перемещаться с одного социального места на другое, вынужден гораздо чаще выбирать между принципиально разными социальными статусами, чаще он меняет свою идентичность, вплоть до того, что выбирает свой возраст и пол.

Изменились параллельно и общественные представления о том, какой жизненный выбор – нормальный, а какой – нет.

Иными словами, на смену человеку стандартного жизненного пути приходит человек рефлексивной биографии. Россия, таким образом, переживает серьезную цивилизационную ломку, приспособляясь к новым условиям глобального мира. Как этот переход может осуществиться помимо активного участия в нем журналистики? Позволю себе еще один тезис, который может показаться по меньшей мере странным. Мне кажется, что информативная "сердцевина" журналистской миссии смещается на периферию, маргинализируется. Она, разумеется, не элиминируется, но все же уступает место иным символическим миссиям сегодняшних медиа. Мастер пера все отчетливее начинает понимать, что идет в журналистику не только потому, что он готовится стать информатором общества и власти, а потому, что намерен найти себя в происходящей в мире цивилизационной ломке и по мере возможности донести смыслы этой трансформации до людей. А тем самым он сам становится рефлексивным субъектом и склоняется к тому, что хотел бы играть разные журналистские миссии.

А раз уж речь зашла о разных миссиях, то это значит, что журналистика все больше становится во всех отношениях проектной. И главное, пожалуй, заключается в том, что перед журналистикой вновь встает задача адаптировать теоретическую мысль на язык повседневной коммуникации. Эта задача не по силам ни одному другому профессионалу. Создать новый рефлексивный язык XXI века не может ни ученый, ни какой другой интеллеktуал. Это может сделать только журналист, пропустив текст теоретической мысли через себя, уловив и адекватно отразив обнаженный "нерв" сегодняшней социальной и культурной теории.

И поскольку журналист становится связующим звеном между теоретической мыслью и новым, обыденным языком XXI века, пусть даже и изобретая его, то именно такая журналистика и обретает искомый статус рефлексивной журналистики. Чаще всего, сами ничего не придумывая, журналисты способны оценить адекватность и своевременность того или иного социокультурного "изобретения" – его языковую, техническую, культурную и политическую адекватность. До тех пор, пока нет по-журналистски артикулированной словесной формы этого изобретения, его как бы и нет в природе.

Рассуждая же об ответственной прессе, мне не без удовольствия вновь хочется вернуться к разговору о Шарлоттском проекте. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что он репрезентирует собой классический пример рефлексивной и проектной журналистики, несмотря на то, что реализована в нем идея локального соучастия граждан в политическом процессе.

Когда проект начался, то его инициаторы исходили из благой задачи максимально донести до читателя то, что происходит во время предвыборных кампаний, в том числе и за счет смены реактивных на креативные формы взаимоотношений публики и политиков.

Журналисту в проекте отводилась роль посредника, организатора интерактивного процесса. Но, поменяв местами слагаемые политических программ, предложив последние к написанию самим гражданам, журналисты рисковали "занизить планку" политики и в некотором роде оказаться не у дел. Однако все опасения не оправдались, и Шарлоттский проект поистине развернул прессу лицом к обществу. Пресса XIX века повернута к власти – ведь "классический" журналист оппонирует власти, присваивает себе право оппонирования, которое на самом деле ему никто не делегировал. Но тогда, в конце XIX века, необходимо было создать стабильный демократический институт гражданского оппонирования власти, в том числе и для того, чтобы исключить возможность узурпирования власти и возврата к старым нормам авторитаризма. Но сегодня журналист оппонирует власти совершенно по-иному и предлагает гражданскому корпусу принять посильное интеллектуальное участие в этом оппонировании.

В Шарлоттском проекте была придумана технология, которая, как мне кажется, все-таки ближе к жанру рефлексивной журналистики. Не случайно, поэтому, проект породил интеллектуальную среду взаимных откровений и глубинного психологизма. Оказалось, что все "новые" мысли лежат на поверхности, стоит только поменять угол зрения. И те интересные газетные рубрики, которые содержали ежедневный журналистский рассказ о членах общины, способствовали быстрой кристаллизации локальной сети, в которой рождается новый рефлексивный субъект XXI века. А для него самым важным, может быть, является трезвая оценка своего познавательного ресурса, гарантирующего ему адекватность повседневного выбора. Рефлексивная журналистика все активнее концентрируется на собственном примере и на примере тех людей, которых она экспонирует локальному сообществу, демонстрируя все возможности новой цивилизации – цивилизации ежедневного, многократно возросшего по масштабу и социальным возможностям выбора.

Мне откровенно не нравится словосочетание "гражданская журналистика", потому что в нем чувствуется некоторая фальшь. Понятие же "рефлексивная журналистика", несмотря на вычурный латинизм, все же точнее всего передает смысл происходящей трансформации.